

Н. СВИРИН

ПУШКИН И ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ

I

ПРЕБЫВАНИЕ Пушкина в Крыму и на Кавказе было очень кратковременным. Зато в Бессарабии ему пришлось осесть надолго.

Почти три года прожил Пушкин в этой восточной провинции, составлявшей прежде часть Молдавии и отнятой от Турции за восемь лет до его приезда по Бухарестскому договору 1812 г. Кишинев, в котором жил Пушкин, был в то время еще типичным азиатским городком. А. Яцимирский в своей статье «Пушкин в Бессарабии» так описывает этот город с его пестрым восточным населением:

«В начале 20-х гг. это была «Азия», и в плохо выраженном, но все-таки восточном его колорите заключался весь этнографический интерес города... Русских чиновников и солдат в то время было сравнительно мало, они чувствовали себя здесь не то гостями, не то завоевателями и расплывались среди уличного калейдоскопа румын, греков, евреев, болгар, украинцев, албанцев, турок, караимов, французов, немцев, итальянцев и т. д.»¹.

Пушкин прибыл в Бессарабию как раз в то время, когда вся эта пестрая, разноплеменная смесь народов Ближнего Востока — греков, румын, болгар, сербов, албанцев и т. д. — пришла в сильное движение, вызванное медленным гниением и распадом Турецкой империи и ростом национал-освободительных стремлений этих поработанных наций.

Вскоре после приезда Пушкина в Кишинев в разных концах Балканского полуострова вспыхнуло восстание греческих гетеристов².

Это восстание сыграло очень большую роль в мировоззрении поэта, в эволюции его политических взглядов. Оно сказалось и на его творчестве, и было немаловажным фактором, ускорившим отход Пушкина от романтизма и байронизма. Наконец, греческое восстание нашло непосредственное отражение

¹ Соч. Пушкина, под ред. С. Венгерова, т II, стр. 158.

² Гетерия — тайное общество, образовавшееся в 1814 г. и ставившее целью объединение греков и всех христиан Турецкой империи «для торжества креста над полумесяцем».

в ряде его произведений (в стихах, в дневнике, в заметках и в письмах). И все же, как это ни странно, в громадной пушкиниане этому вопросу уделено минимальное количество строк. Во всяком случае такие «проблемы», как, например, пресловутая «утаенная любовь» Пушкина или же «дон-жуанские списки» поэта, имеют гораздо более богатую литературу. Этим темам посвящены обширные многочисленные исследования, написанные с темпераментом, полемическим азартом и потрясающей эрудицией. Важнейшее же событие в жизни Пушкина, сыгравшее роль переломного момента в его мировоззрении и творчестве, очевидно казалось пушкинистам не заслуживающим особого внимания. Собственно, вопроса об отношении Пушкина к греческому восстанию касаются авторы всех работ, затрагивающих период пребывания поэта в ссылке на юге России. Но именно «касаются», отделяваясь чаще всего несколькими общими банальными фразами. Специальные же заметки, посвященные этому вопросу (Н. Лернер и др.), в подавляющем большинстве случаев носят узко биографический или же комментаторский характер, выясняя даты написания стихотворений Пушкина о греческом восстании, разночтения текстов и т. п. В основном такой же комментаторский характер носит наиболее обстоятельная статья о Пушкине и греческом восстании, написанная уже в наше время В. Селиновым¹. Весь исследовательский пафос его статьи направлен на доказательство того основного тезиса, что стихотворение «Встань, о Греция» написано не в 1821 и не в 1829 г., как думают многие, а в 1824-м. Исключением из общего правила являются содержательные статьи В. Язвицкого и И. Оксенова о «Кирджали».

Увлечение Пушкина национально-освободительным движением греческого народа неотделимо от той широкой волны общественного сочувствия восставшим грекам, которая под именем «филэллинизма» захватила не только Россию, но и главные страны Западной Европы. В исследованиях о Пушкине филэллинизм обычно рассматривается с наивно-идеалистических или же тенденциозно-патриотических позиций, как благородное и бескорыстное движение в пользу освобождения греков от турецкого ига. Но это верно лишь по отношению к отдельным лицам и общественным кругам, — в целом же практика филэллинского движения носила далеко не такой бескорыстно-идеалистический характер, как это изображается. Каждое из крупных государств Европы имело на Востоке свои экономические и политические интересы, и господствующие классы этих государств гораздо больше интересовались вопросом о разделе имущества «больного человека» — Турции, чем судьбой восставших греков.

¹ «Пушкин и греческое восстание. Опыт исторического комментария к филэллинистическим пьесам Пушкина», в сб. «Пушкин», вып. II, Одесса, 1926 г.

И под прикрытием филэллинизма, под маской благородных жестов и слов на Балканском полуострове разыгрывалась ожесточенная дипломатическая борьба за захват важнейших экономических и стратегических пунктов на Ближнем Востоке.

Совершенно особая роль принадлежала в этом вопросе России. Еще при Екатерине II возник грандиозный проект образования греческой империи на развалинах Османской Порты. Имелось в виду, что эта так называемая «греческая империя» будет восточной русской провинцией, всецело зависящей от русского двора. Константин Павлович, брат Николая I, с самого рождения предназначался к роли будущего греческого императора; даже самое имя дано было ему с расчетом на будущий титул — «Константин III, император Византии». Любопытен и такой исторический штрих: когда Екатерина II путешествовала по только что завоеванной Новороссии и Таврии, в Херсоне на ее пути устроена была триумфальная арка с надписью: «Дорога в Византию».

Эти грандиозные проекты настойчиво пытались осуществить и преемники Екатерины II на русском престоле. Проискам России на Ближнем Востоке способствовало не только искусство русской дипломатии, сколько выигрышная роль России, как «защитницы единоверных греков и прочих христиан Турецкой империи». Маркс и Энгельс, в 50-х годах глубоко изучившие «восточный вопрос», писали об этом:

«Русское правительство давно использовало свое чрезвычайно благоприятное положение в юго-восточной Европе Сотни русских агентов систематически отправлялись в Турцию и там старались сосредоточить внимание греческих христиан на личности православного императора, как, главы, естественного защитника и освободителя угнетенной восточной церкви... Духовенство греческой церкви уже давно образовало огромный заговор для распространения этих идей. Сербское восстание в 1809 году и греческое возмущение в 1821 году в большей или меньшей степени обязаны своим возникновением русскому золоту и влиянию» (Соч., т. IX, стр. 387—388).

Когда в 1821 году вспыхнуло греческое восстание, русское правительство в лице Александра I совершило очередное предательство греков, об'явив их бунтовщиками против «законного порядка»¹. Но феодально-династические принципы «Священного Союза» оказались в противоречии с государственно-экономическими интересами России на Востоке. Именно поэтому политика Александра I встретила почти всеобщее осуждение русского дворянского общества, и волна филэллинизма захватила самые широкие и разнообразные слои. Обычно этот русский филэллинизм изображается как единый, недифференцированный погон. На самом же деле в этом едином на первый взгляд потоке были две принципиально отличные струи. Консервативные слои русского дворянства и буржуазии, чуждые каких бы то ни было

¹ Первое такое предательство было в 1769 г., когда Россия, спровоцировав греческое восстание в Море, бросила затем повстанцев на произвол судьбы.

либеральных мечтаний, сочувствовали грекам лишь как «единоверцам», поднявшим меч против своих угнетателей-мусульман, заклятых врагов христовой церкви. Это сочувствие подогревалось воплощениями о «греческом проекте» Екатерины II, мечтами о захвате Константинополя и проливов. В литературе, отражавшей настроения и чаяния этих кругов, излюбленный идеологический мотив — это борьба христианства и магометанства, а излюбленный художественный образ — антитеза креста и полумесяца.

Мотивы государственно-националистического и религиозного характера вплетались и в филэллинизм оппозиционных слоев дворянства, даже декабристов. Однако, для филэллинизма декабристов характерна одна черта, принципиально выделяющая их из всей массы «доброжелателей» греческого народа. Декабристы воспринимали греческое восстание прежде всего как революцию против старого порядка, аналогичную испанской и итальянской революциям, вспыхнувшим в это же самое время. С греческим восстанием связывались надежды на близкий переворот и в самой России. Обращение к героям и преданиям античной Эллады, свойственное и консервативной эллинофильской поэзии, у декабристов наполнялось революционным содержанием. Такие слова, как «свобода», «отчина», «правда», «тиранство» и т. п., которые тогда можно было встретить в любом стихотворении, посвященном греческому восстанию, у поэтов-декабристов имели не только антитурецкую, но и более широкую революционную направленность. Филэллинизм Пушкина по своему характеру принадлежал именно к этой второй, декабристской струе.

II

Отношение Пушкина к греческому восстанию представляет для нас наибольший интерес. И не только потому, что речь идет о великом поэте, но и потому, что в силу случайных обстоятельств, Пушкин оказался здесь в исключительном положении по сравнению со своими друзьями из лагеря оппозиционного дворянства.

Подавляющее большинство декабристов наблюдало греческую революцию издалека, питаясь противоречивыми слухами и скудными известиями, проникавшими в печать. Пушкин же имел возможность на протяжении ряда лет близко и непосредственно наблюдать различные стадии восстания на территории соседней с Кишиневом Молдавии. Это обстоятельство в значительной мере обусловило то, что Пушкин, в отличие от других представителей оппозиционного дворянства, пережил острый конфликт на почве столкновения романтических представлений о революции с трезвой и будничной практикой революционной борьбы. Поэтому-то отношение Пушкина к греческому восстанию заслуживает самого пристального внимания.

Незадолго перед началом греческой революции Пушкин пережил период наибольшего увлечения либеральными идеями. В 1818—1819 гг. он пишет ряд своих «вольнлюбивых» стихов («К. Чаадаеву», «Noël», «Деревня», «Вольность») и щедрой рукой разбрасывает свои колкие эпиграммы, метко поражающие прислужников старого порядка. Ссылка на юг и пребывание в Крыму и на Кавказе несколько ослабили в нем эти радикальные настроения. Но вот в 1820—1821 гг. в разных концах Европы — в Испании, в Неаполе, в Пьемонте, на Балканском полуострове — вспыхивает революционный пожар. Угнетенные народы поднимаются с оружием в руках и идут штурмовать феодальные твердыни, реставрированные и укрепленные «Священным Союзом». Эти события, а также общение с более левыми «южными» декабристами в Кишиневе и Каменке, снова пробуждают у Пушкина веру в близкое крушение старого порядка. Поэт с величайшим сочувствием следит за развертыванием национально-освободительной борьбы в Европе и приветствует приближение освежающей грозы:

Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод!

На этом фоне, конечно, совершенно понятно горячее сочувствие Пушкина греческому восстанию, которое он воспринимал как одно из звеньев в общей цепи революционных событий, потрясавших Европу в 1820—1821 гг.

История начала греческого восстания в двух словах такова: князь Александр Ипсиланти — офицер русской службы, происходивший из династии греческих князей-фанариотов¹, 22 февраля 1821 г. с небольшим отрядом кавалерии выступил из Кишинева, переправился через реку Прут, отделяющую Бессарабию от турецкой Молдавии, и обнародовал в Яссах прокламацию о начале восстания против турецкого ига.

Пушкин в своем первом письме о греческой революции, адресованном предположительно В. Л. Давыдову, с восторгом рассказывает об этом событии. Он передает также содержание воззвания Ипсиланти и добавляет:

«Мой друг, все это прекрасно... Два великие народа (греки и итальянцы. — Н. С.), давно падших в презрительное ничтожество, в одно время встают из праха — и возобновленные, являются на политическом поприще мира. Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен!. Отныне и мертвый или победитель, он принадлежит истории».

В своем «Кишиневском дневнике», из которого до нас дошли только небольшие отрывки, Пушкин записывает 2 апреля 1821 г.:

¹ Фанариоты — члены богатых греческих фамилий, живших в Фанаре, предместья Константинополя

«Вечер провел у N. G Прелестная гречанка. Говорили об А. Ипсиланти; между пятью греками я один говорил как грек: все отчаивались в успехе предприятия этерии. Я твердо уверен, что Греция восторжествует...»

Из этого же дневника видно, что Пушкин 7 мая писал князю Ипсиланти в Молдавию:

«Третьего дня писал я к князю Ипсиланти, с молодым французом, который отправляется в греческое войско».

Содержание письма нам неизвестно, но возможно, что оно связано с намерением Пушкина принять непосредственное участие в восстании гетеристов. Об этом намерении ясно свидетельствует и письмо поэта С. И. Тургеневу от 21 августа 1821 г. («если есть надежда на войну, ради христа, оставьте меня в Бессарабии»), и стихотворение «Война»:

Война!. Под'яты, наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести,
Засвищет вокруг меня губительный свинец! — и т. д.

Обычно, сообщением этих общеизвестных фактов, с упоминанием о стихотворении «Восстань, о Греция», и ограничиваются исследователи, касающиеся вопроса об увлечении Пушкина греческим восстанием. Вслед за этим говорят несколько слов о периоде «разочарования», наступившем в 1824 г., и на этом дело заканчивается. Между тем, здесь только и должен начаться анализ. Бессодержательность заметок, статей и упоминаний об отношении Пушкина к греческой революции коренится в значительной мере в абстрактно-идеалистическом представлении о самой этой революции. Абсолютно игнорируется не только внешнеполитическая борьба европейских государств на Балканском полуострове, о которой я говорил выше, но и внутренняя социальная сущность греческого восстания. Образ греческой революции конструируется не на основе реальных социально-экономических отношений, вызвавших освободительное движение народов Балканского полуострова, а на основе идеалистически-романтических представлений об этом движении самого Пушкина и его современников. Позднейшим скептическим замечаниям Пушкина придавалось мало значения, и греческая революция в работах до-революционных пушкинистов выступает обычно в светлых, незапятнанных ризах. Все это вполне естественно в работах либерально-буржуазных ученых, для которых буржуазная революция — крайний предел самых дерзких мечтаний. Но странно, что эта почтенная традиция полностью сохранилась до сих пор в работах советских пушкинистов¹. Я должен поэтому в двух словах остановиться на вопросе о классовой природе греческого восстания.

¹ См., например, упоминавшуюся выше статью В. Селинова «Пушкин и греческое восстание».

Греческая революция по своей социальной сути была типичной буржуазной революцией, соединенной с борьбой за национальную независимость. Еще в условиях турецкого господства на Балканском полуострове успел сложиться довольно мощный класс негодантов, «арматоров», в среде которого и зародилась мысль о «возрождении Эллады».

«Своим возрождением Греция во многом обязана жителям островов и приморских городов, обратившим все свои способности на занятие торговлею и сумевшими выступить в роли естественных посредников между торговлею Турции и западных держав. Пользуясь тем, что великая борьба между Францией и Англией предоставила им под охраною турецкого флага, право почти исключительной торговли в Средиземном море, они так развили свои коммерческие операции и так разбогатели, что, например, в 1815 году у них было уже 600 судов с 30000 экипажа. Этот вновь создавшийся класс арматоров и негодантов, как более образованный и проникнутый преданиями старины, возымел мысль возродить отечество» (В. Теллов, «Граф Иоанн Каподистрия», СПб, 1893, стр. 5).

И недаром в 1830 г. одним из первых актов первого президента Греции графа Каподистрии, были мероприятия по развитию торговли и мореплавания¹. И не случайно также, что тайное общество «Дружественной Гетерии» зародилось не под священными вершинами Олимпа и Пинда, не среди «гробов Тезея и Перикла», а в недрах купеческой Одессы, в торговой конторе греческого негоданта². Конечно, из того факта, что греческая революция была по своей сущности глубоко буржуазной, не следует еще, что она делалась руками одной буржуазии и была абсолютно однородна по социальному и национальному составу участников. Национально-освободительное движение захватило широчайшие слои греческого народа: мелкую буржуазию, крестьянство, ремесленников, которые привносили демократические черты в освободительную борьбу. С другой стороны, греческие дворянские семейства (фанариоты), как мы увидим дальше, привносили в движение феодально-аристократические черты и замашки. Все это не меняло, однако, буржуазной сущности греческой революции. Реальный, а не романтический смысл восстания 20-х годов заключался в том, чтобы сбросить власть турецких феодалов, физически истреблявших население и тормозивших рост производительных сил страны, уничтожить обособленность отдельных частей Греции, и образовать единое независимое национальное государство — необходимую предпосылку для свободного развития буржуазно-капиталистических отношений.

Но, говорит Маркс,

«как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, междоусобная война и

¹ См. Т. Палеолог и М. Сивинис — «Исторический очерк народной войны за независимость Греции». СПб. 1867 г., т. II, стр. 22.

² Основателем гетерии в 1814 г. был Николай Скуфас, приказчик торговой конторы в Одессе.

битвы народов. В классически строгих преданиях Римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте «великой трагедии»

И деятели буржуазной революции

«заботливо вызывают к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюм и в освещенном древностью наряде, на чуждом языке разыгрывают новый акт всемирной истории» («18-е брюмера»).

И, поскольку «духи прошлого» помогали рождению нового общества, постольку весь этот героический маскарад, это обращение к именам и паролем героической древности было явлением прогрессивным, несмотря на свою мистифицированную форму. Этот закон использования классических преданий в буржуазной революции, гениально установленный Марксом, находит блестящее подтверждение и в греческом национально-освободительном движении. Но если Кромвель заимствовал язык, страсти и иллюзии Ветхого завета, если Лютер переодевался апостолом Павлом, а французская буржуазия использовала героические предания древнего Рима, то современные Пушкину греки обращались непосредственно к своим древним «родственникам» — к героям античной Эллады. Чрезвычайно любопытна в этом отношении прокламация Ипсиланти, обнародованная им в Яссах. Это какое-то сплошное заклинание духов прошлого, напоминающее спиритический сеанс:

«Итак, призовем снова, мужественные и великодушные Еллины, свободу в классическую землю Греции! Сразимся между Марафоном и Фермопилами! Сразимся на гробах отцов наших, кои, дабы нас оставить свободными, сражались и пали там; кровь тирана приятна тени Эпаминонда Фивейского и Афинейского Тразибула, которые победили тридцать тиранов, теням Армония и Аристокитона, которые низвергли Пизистратский ярем, тени Тимолисна, который восстановил свободу в Коринфе и Сиракузах, теням Мильтиада и Фемистокла, Леонида и Трех сот, кои толикократно поражали бесчисленные войска варваров персов» и т. д. ¹.

Тени героев древней Эллады, мобилизованные на помощь буржуазной революции, действительно помогли руководителям восстания поднять воодушевление инсургентов на высоту исторической трагедии. В письме Пушкина о начале восстания имектся такие любопытные подробности о настроении греков:

«Восторг умов дошел до высочайшей степени; все мысли устремлены к одному предмету — на независимость древнего Отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты. все говорили об Леониде, об Фемистокле (разрядка моя. — Н. С.), все шли в войско шастливца Ипсиланти»

¹ «Русский архив», 1868 г., № 2, стр. 297.

Это переодевание современных греков в костюмы античных героев свойственно было и самому Пушкину на первой стадии восстания.

«Я твердо уверен, — записывает он в Кишиневский дневник, — что Греция восторжествует и 2 500 000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла». (разрядка моя — Н. С.).

Обращение к священным именам и героическим преданиям древней Эллады составляет характерную стилевую особенность и тех немногочисленных поэтических строк, которые посвятил Пушкин греческой революции. Очень показательны в этом отношении стихотворение «Гречанка верная! не плачь...»¹. Темой здесь служит героическая смерть греческого инсургента. Героизируя образ убитого грека, Пушкин гримирует его под древнего эллина. Он сравнивает гетериста с афинским юношей Аристокитом, который, спрятав кинжал под миртовыми ветками, заколол тирана Гиппарха:

Как Аристокитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринудся и, падши, совершил
Великое, святое дело.

Ориентация на героическое прошлое Эллады определяет всю образную структуру стихотворения: эпически-торжественный тон, плавный, размеренный ритм, высокую лексику, величественные позы и жесты. Отправление грека на поле брани рисуется, например, в таких выражениях:

Супруг [тебе простер] торжественную руку.
Младенца своего в слезах благословил,
Но зная черное свободой восшумело — и т. д.

Сама же борьба греков за освобождение рисуется, как «великое, святое дело», как «кровавой чести путь» и т. д. Но особенно показательны в этом отношении главное произведение Пушкина, посвященное греческой революции, — «Восстань, о Греция»:

Восстань, о Греция, восстань!
Недаром напрягаешь силы,
Недаром потрясает брань
Олимп, и Пинд, и Фермопилы.
Под сенью ветхой их вершин
Свобода древняя возникла,
Святые мраморы Афин,
Гроба Тезея и Перикла.
Страна героев и богов,
Расторгни рабские вериги,
При пеньи пламенных стихов,
Тиртея, Байрона и Риги!²

¹ Пушкин не закончил этого стихотворения, и оно дошло до нас лишь в черновиках. Цитирую по книге «Неизданный Пушкин», собрание А. Ф. Онегина, «Атеней», 1922 г.

² Дата этого стихотворения до сих пор с точностью не установлена. Мне кажется, что по своему настроению и стилистической манере, это стихотворение вероятнее всего относится к 1821 году, к периоду романтического увлечения Пушкина греческой революцией.

Таким образом современная Пушкину Греция воспринимается им через призму античных реминисценций, как «страна героев и богов». На протяжении двенадцати строк этого небольшого стихотворения встречается семь названий героев древней Эллады и географических мест, освященных славными преданиями (Тезей, Перикл, Тиртей, Олимп, Пинд, Фермопилы, Афины).

В пушкинской историографии установилось твердое мнение, что стихотворение «Восстань, о Греция» — это пламенное воззвание к борющимся грекам. Действительно, целиком построенное на призыве, на ораторской интонации, это стихотворение может служить типичным образчиком агитационного жанра. Однако, насчет «пламенности» этого воззвания пушкинисты явно преувеличили.

Доверху перегруженное античными именами и названиями, это стихотворение лишено обаяния той непосредственной эмоциональной взволнованности и той поразительной предметной конкретности, которые придают такую огромную силу другим поэтическим произведениям Пушкина. С величественных вершин Олимпа и Пинда в этом стихотворении веет каким-то холодком; само это неуклюжее сочетание слов «Олимп» и «Пинд» (звучащее как «олимпипинд») совершенно не свойственно пушкинскому стиху. И не случайно при жизни Пушкина это стихотворение так и не было им опубликовано: очевидно, сам поэт остался им недоволен. Такая же участь постигла и стихотворение «Гречанка верная...!»

Гораздо естественнее, а потому и сильнее, Пушкин в стихотворении «Война», в котором он берет тему восстания в глубоко личном, психологическом плане, рисуя мысленно свое участие в войне с Турцией и те новые, захватывающие переживания, которые ему предстоит пережить на поле битвы.

Искреннее сочувствие Пушкина греческому восстанию в годы 1821 и 1822-й не подлежит никакому сомнению. Я хочу только отметить, что уже в этот период «древнегреческий маскарад», которым увлекалась тогда русская поэзия, был не совсем по душе Пушкину. Вместе со своими друзьями-декабристами разделяя романтические иллюзии в отношении движения гетеристов, рассматривая современные события на Ближнем Востоке через призму античности, поэт добросовестно вызывал «духов прошлого» и старательно переряживал греческих повстанцев в античные костюмы. Однако, во всем этом чувствуется какая-то натяжка, какое-то внутреннее принуждение, что и приводило к неудаче некоторых опытов, так и оставшихся незавершенными.

Но если оперирование античными именами, образами и преданиями для прославления греческого восстания все же приемлетя Пушкиным в этот период, то манера изображения восставшей Греции в «славяно-русском» стиле, чем грешили его друзья, поэты-декабристы, приводит его в совершенное бешенство:

«Читал стихи и прозу Кюхельбекера, — пишет он брату в 1822 г. — Что за чудак! Только в его голову могла войти мысль воспеть Грецию, велико-лепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом — славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия. Что бы сказал Гомер и Пиндар?»¹

Здесь еще нет протеста против «маскарада» вообще, а лишь против его наиболее уродливых, неестественных форм, нарушающих, по мнению Пушкина, гармонию формы и содержания. Через три года в «Оде его сиятельству гр. Хвостову» Пушкин подвергнет осмеянию не только «славяно-русский» стиль, но и череряживание современных греков в костюмы античных героев.

III

Пушкин, как, впрочем, и все его друзья-декабристы, неясно представлял себе конечную цель греческой революции и не отдавал себе ясного отчета в социальном характере повстанческого движения. Будущее государство, которое возникает на развалинах Турецкой империи, рисуется в его представлении в образе какой-то античной Афинской республики. Когда Пушкин пытается более конкретно и рельефно представить себе очертания этого будущего государства, у него ничего не получается.

«Кинем пророческий взор на будущее и постараемся разгадать судьбу возобновленной Греции, —

пишет он В. Давыдову. Но, видимо, Пушкин так и не смог ничего разглядеть в этом туманном будущем, ибо не дает никакого ответа на поставленный им же самим вопрос.

Неясны были Пушкину и те глубокие национальные и классовые противоречия, которые буквально раздирали повстанческое движение на территории Молдавии и Валахии, и очень скоро привели это движение к катастрофе.

Еще в январе 1821 г., до перехода Ипсиланти через Прут с отрядом гетеристов, в Малой Валахии вспыхнуло восстание, во главе которого стоял солдат Теодор Владимиреско, происходивший из низшего румынского дворянства. Пушкин в своем письме к В. Давыдову так излагает это событие:

Греция восстала и провозгласила свою «свободу. [Некто] Теодор Владимиреско, служивший некогда в войске покойного Князя Ипсиланти², в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом вооруженных арнаутов и объявил, что [угнетаемые] греки не в силах более вы-

¹ Пушкин имеет здесь в виду стихи Кюхельбекера «Глагол господень был ко мне», «Послание к Ермолову» и др. В первом из этих стихотворений, воспевающим восставшую Элладу, имеются, например, такие строки:

Народы! Близок, близок час:

Сам Саваоф стоит за вас!

Восходит Солнце обновленья, и т. д.

(См. «Литературный вестник» за 1902 г., т. III, кн. II, где эти стихи впервые опубликованы Н. К. Пиксановым).

² То есть отца Александра Ипсиланти, предводителя гетеристов. — Н. С.

носить притеснений и грабительств турецких начальников, что они решились освободить родину от ига незаконного, что намерены платить только подати, наложенные правительством. — Сия прокламация встревожила всю Молдавию... Пандуры¹ и арнауты отовсюду бежали к смелому Владимиреско, и в несколько дней он уже начальствовал 7000 войска».

Пушкин здесь очень сочувственно отзывается о восстании Владимиреско, но, видимо, поэт был введен в заблуждение односторонней и пристрастной информацией тех аристократических греческих кругов, с которыми он общался в Кишиневе. В изложении Пушкина Владимиреско выглядит, как борец за освобождение Греции от турецкого ига, а возглавляемое им движение — как составная и органическая часть гетерии. Между тем Владимиреско столько же интересовался освобождением Греции, сколько, скажем, улучшением благосостояния Китайской империи. Возглавляемое им движение по своим целям было не только отлично от движения греческих повстанцев, но в некоторых вопросах прямо враждебно ему. Намек на это имеется уже в рапорте декабриста Пестеля генералу Киселеву:

«Владимиреско опубликовал прокламацию, в которой он говорит, что цель его действия отнюдь не мятеж против Оттоманской Порты, но противодействие ужасным притеснениям, которым подвергается несчастная Валахия со стороны назначенных (constituées) властей, которые преступили свои права и угнетают народ всеми беззакониями, какие только можно вообразить»².

А. Ф. Вельтман, бывший в Бессарабии одновременно с Пушкиным, еще более отчетливо сформулировал различие целей, за которые боролись два вождя движения — Владимиреско и Ипсиланти. У Владимиреско, — пишет Вельтман, —

«цели были совсем иные. Вместо того, чтобы соединиться с Ипсиланти, он отвечал ему: «Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я — на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем; вы боритесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями»³.

Несмотря на эти недвусмысленные указания, в пушкинской историографии вопрос о глубоком национальном и социальном различии двух составных частей повстанческого движения на территории Молдавии и Валахии обходится обычно полным молчанием⁴. О движении, возглавляемом Владимиреско, или ничего не

¹ Пандуры — валашская лесная стража, нечто вроде милиции. — Н. С.

² Пестель, служивший в то время в Мариупольском гусарском полку, командирован был в марте 1821 г. ген. П. Д. Киселевым на границу Молдавии, для того чтобы собрать сведения о вспыхнувшем восстании. Рапорт его (на французском языке) полностью приведен в работе А. Заблоцкого-Десятовского — «Граф П. Д. Киселев и его время» (СПБ, 1882 г., т. IV, стр. 10—15).

³ «Воспоминания о Бессарабии» (в книге Л. Майкова — «Пушкин», СПБ, 1899, стр. 119).

⁴ Исключением в этом отношении является статья о «Кирджали» В. Язвицкого, который мимоходом останавливается на данном вопросе (см. «Голос минувшего», № 1—4 за 1919 г., стр. 48). Этому же вопросу касается и И. Оксенов в статье о «Кирджали» в сб. «Пушкин в 1834 г.» (Л-д, 1934 г.).

гсворят, или же совершенно извращают социальный смысл этого движения. Такого рода извращения продолжаютя вплоть до наших дней¹. Я считаю поэтому необходимым более подробно остановиться на данном вопросе, проливающим дополнительный свет и на характер греческого восстания на территории Молдавии и Валахии, и на отношение Пушкина к этому восстанию.

Весьма интересный материал о социальном и национальном характере движения Владимирско содержится в специальном исследовании С. Н. Палаузова — «Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко-политическом отношении» (СПБ, 1859)². С. Н. Палаузов приводит красочные данные о беспощадной, зверской эксплуатации румынских крестьян греческими дворянами-фанариотами, этими маленькими гнусными Неронами, которые путем грязных интриг и подкупов добивались у турецких султанов поста господаря в Молдавии или Валахии и здесь сдирали семь шкур с разоренного населения, возбуждая к себе жгучую ненависть угнетенного румынского народа. Именно к этой династии господарей, к этой «продажной банде наемников», как называл Маркс фанариотов, принадлежали многие виднейшие деятели гетерии: князь Александр Ипсиланти со своими братьями (сыновья бывшего господаря Молдавии и Валахии, Константина Ипсиланти), князь Александр Маврокордато (бывший господарь Валахии), Михаил Суцо, валашский господарь, в последний момент примкнувший к гетерии, и т. д. Вся эта руководящая аристократическая верхушка вносила в буржуазное по своей природе национально-освободительное движение феодально-крепостнические черты и замашки. Что же касается туземного румынского боярства, то оно тесно срослось с греческими господарями и с их придворной камарильей. Вот кто был главным врагом румынского крестьянства и мелкой буржуазии; вот против кого направлено было в первую очередь восстание, возглавляемое Владимирско. Борьба же с турками стояла для него на втором плане.

Для Пушкина восстание греческих гетеристов, овеянное преданиями и легендами античной Эллады, было неизмеримо ближе и понятнее, чем национально-освободительное движение коренного румынского населения. К румынскому боярству — скорее азиатскому, чем европейскому — Пушкин относился с вполне заслуженным презрением; что же касается румынского трудового народа, то Пушкин был от него страшно далек. Вот почему поэт не разглядел самостоятельной демократической ру-

¹ В «Путеводителе по Пушкину», изданном в 1931 г. при участии виднейших пушкинистов, о Владимирско, например, сказано: «Владимирско Теодор — валашский солдат, поднявший восстание в 1821 г. за независимость Греции от турецкого владычества» (?!).

² Ценный материал о движении Владимирско содержится также в статье В. Селинова — «Из истории национально-освободительной борьбы греков и румын в начале XIX в.» («Новый Восток», 1928 г., кн. 20—21).

мынской струи в движении гетеристов; этим, мне кажется, объясняется и его поверхностная оценка двух вождей движения:

«С крайним сожалением узнал я, что Владимиреско не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной, — храбрости достанет и у Ипсиланти» (запись в Кишиневском дневнике от 2 апреля 1821 г.).

Пушкин не понимал тогда, что различие между Владимиреско и Ипсиланти следует искать не в свойствах их характера, а в совершенно противоположных целях, за которые они боролись. Впрочем, Пушкин не являлся здесь исключением. Абстрактно-романтические представления русских либеральных дворян о греческой революции, их исключительные симпатии к «возрождающейся Элладе», недоверчивое и настороженное отношение к самостоятельному движению народных масс — все это отнюдь не способствовало тому, чтобы заметить и правильно оценить классовую и национальную неоднородность восстания, разыгравшегося на Балканском полуострове.

Не только декабристы, издавелока наблюдавшие за ходом восстания, но и Пестель, изучавший его на месте, разделял иллюзии национального и классового единства греческой революции. В рапорте, который он представил генералу Киселеву, Пестель писал:

«Албанцы и сербы всецело разделяют намерения и планы греков. У них одни и те же интересы, и дело у всех них общее»¹

Даже Ипсиланти, имевший, очевидно, более обстоятельную информацию от своих агентов, тем не менее избрал Молдавию плацдармом для греческого восстания, наивно полагая, что общая борьба против турок сгладит национальную вражду народов Балканского полуострова и что румынские крестьяне забудут о своей жгучей ненависти к «лимонджиям» (как называли они греков-фанариотов). Но уже с первых дней революции начали обнаруживаться непримиримые классовые и национальные противоречия двух составных частей движения. Борясь за свободу Греции против турецкого ига, гетеристы весьма мало склонны были считаться с национально-освободительными стремлениями других народов Ближнего Востока. Некоторые из виднейших деятелей гетерии носились даже с идеей восстановления византийской Греции. Сторонники этой идеи

«не признавали племенного значения сербо-албанского и болгаро-румынского племени, отвергали их историю и предания и силились подвести все эти племена под супрематию эллинизма»².

В особенности чуждо и враждебно было для вождей гетерии, принадлежавших к династии князей-фанариотов, демократическое национально-освободительное движение румынского наро-

¹ Н. Павлов-Сильванский — «Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом», 1907 г., стр. 172.

² С. Палаузов, назв. соч., стр. 168.

да,— того народа, который их отцы и деды более ста лет беспощадно угнетали и грабили. Александр Ипсиланти отнюдь не собирався нарушать этих «священных традиций». Из-под благо-родной маски вождя «возрождающейся Эллады» вскоре прог-лянула отвратительная физиономия князя-фанариота. По приезде в Яссы, где он поднял восстание, Ипсиланти

«стал покушаться на частное имущество граждан Молдавии. Поступок его с яским банкиром Павлом Андреас, которого он заставил заплатить 600 000 пиастров, возбудил всеобщее негодование. Ограбленные поселяне начали роптать, торговцы и граждане не смели выходить из своих домов. Бояре, один за другим, оставляли Яссы и скрывались иные в Бессарабию, другие в Трансильванию и Буковину»¹.

Вероятно, именно об этом яском банкире пишет Пушкин В. Давыдову, на основе ложной информации представляя себе этот эпизод в романтически-идиллических красках:

«Жизнь, имения Греков в его (т. е. Ипсиланти. — Н. С.) распоряжении!.. Один Паули дал 600 т. пнас., с тем, чтобы ему их возратить по восстановлении Греции... [Мой друг, все это прекрасно]...»

Позже до Пушкина, очевидно, дошли какие-то сведения о национальных противоречиях движения, но в совершенно искаженном виде. Так, в «Заметке о Пенда-Деке» Пушкин пишет об этом гетеристе:

«В Терговиче он встретился с Ипсиланти: тот послал его успокоить беспорядки в Яссах — он нашел там греков, притесняемых боярами: его находчивость и твердость спасли их»².

Вскоре феодально-аристократическое руководство гетерии полностью проявило свое истинное лицо, предательски расправившись с вождем румынского демократического движения. Владимиреско в своей борьбе против Ипсиланти, в лице которого он видел представителя ненавистных румынскому народу греческих князей-фанариотов, решил прибегнуть к помощи турок. Перехватив письма Владимиреско в Турцию, Ипсиланти искусно использовал это обстоятельство, объявил Владимиреско «изменником», арестовал и убил его. Три ад'ютанта Ипсиланти увели связанного Владимиреско за город и там зарубили его саблями. Но эти сабли подрубили тот сук, на котором только и могло держаться движение греческих гетеристов на румынской территории. Турецким войскам, которые в мае 1821 г. прибыли, наконец, в Молдавию и Валахию, не трудно было уже расправиться с разрозненными отрядами гетеристов, не встречавших поддержки местного румынского населения³.

¹ С. Палаузов, назв. соч., стр. 176

² Соч. Пушкина, ГИХЛ, т. V, кн. II, стр. 644. Разрядка моя.—Н. С.

³ На территории самой Греции восстание с переменным успехом продолжалось еще десять лет и закончилось в 1832 г. образованием независимого греческого государства

Пушкин склонен был об'яснять разгром гетеристов исключительно личными качествами Ипсиланти, в котором он очень скоро разочаровался. Так, в «Заметке о Пенда-Деке», написанной в 1821 г., уже после поражения гетерии, он писал:

«Нет сомнения, что князь Ипсиланти мог бы овладеть Ибраилом и Джурджей. Турки бежали во все стороны, воображив, что за ними гонятся русские. В Бухаресте болгарские делегаты (в том числе Капиджи-баши) предлагали Ипсиланти поднять всю их страну, — он не решился!»

А в «Заметке о революции Ипсиланти», написанной в то же время, он отмечает «странное» поведение командующего вооруженными силами гетерии:

«Ипсиланти, боясь быть убитым, счел необходимым бежать и разразился своей прокламацией».

Уже много лет спустя, в рассказе «Кирджали», Пушкин снова вспомнил об этом бегстве Ипсиланти от своих разбитых войск:

«Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодьями»¹.

Мы уже увидели, что настоящая причина поражения гетеристов в Молдавии заключалась не в личных свойствах Ипсиланти, который, хотя и неумело, но совершенно последовательно проводил свою классовую линию, а в глубоких социальных и национальных противоречиях двух составных частей повстанческого движения.

IV

Для полноты характеристики отношения Пушкина к греческой революции и его национально-освободительных увлечений следует остановиться еще на одной характерной и любопытной черте, весьма типичной для всего либерального русского дворянства.

Сочувствие декабристов национально-освободительному движению в Европе нисколько не мешало им придерживаться великодержавных взглядов по отношению к угнетенным нациям самой России. Они с энтузиазмом приветствовали священный принцип национальной свободы, но только... до границ Российской империи. Здесь этот принцип терял для них всю свою привлека-

¹ Вот некоторые места из этой трусливой и жалкой прокламации Ипсиланти к своим разбитым войскам, которая, сколько мне известно, не приводилась в пушкинской историографии: «Войны! Нет, не хочу более оквернять это честное священное имя, называя им вас. Трусливое стадо людей! Ваши измены и коварные поступки заставляют меня оставить вас. Впредь всякая связь между мною и вами разорвана. Только глубоко в душе моей понесу стыд, что я вами начальствовал. Вы преступили клятвы, предали бога и родину, предали и меня в ту минуту, когда надеялся или победить, или умереть со славою, вместе с вами. Итак, я вас оставляю» и т. д. (С. Паузов, назв. соч., стр. 186 и 187).

тельность,— вспомним хотя бы об отношении декабристов к борьбе поляков или кавказских горцев за свою независимость. Мотивы и соображения государственно-националистического порядка сплелись и в эллинофильские чувства оппозиционных слоев русского дворянства. Им отнюдь не были чужды идеи «греческого проекта» Екатерины II и соображения об экономических интересах России на Востоке. Так, в программе «Ордена русских рыцарей», отражавшей чаяния правого аристократического крыла оппозиционного дворянства, имелись такие пункты:

«Присоединение Венгрии, Сербии и всех славянских народов к России; изгнание турков из Европы и восстановление греческих республик под протекторатом России; учреждение флота в Архипелаге и постановление возможных препятствий английской торговле в оном краю» и т. д.¹

Весьма любопытно также следующее место в показаниях декабриста А. Поджио:

«Ни что меня столько не оскорбляло, как явное сие господство и влияние венского кабинета над нашим... Довольно известно всегдашнее покровительство правительства нашего к единоверцам нашим, угнетенным грекам. Со времен еще Екатерины II сие покровительство не прерывалось по 1820 год».

Дальше Поджио развивает соображения о тех выгодах, которые получила бы Россия, вступившись за восставших греков:

«Торговля наша южная от упадка своего со времен восстания греков перешла бы к самому цветущему положению господствованием, ничем уже не затруждающего, над торговлею всего Востока» и т. д.²

Националистические и религиозные мотивы, воинственные выпады против Турции, предания о «русском щите на вратах Цареграда» и т. п.— мы встретим и в эллинофильской поэзии декабристов. Любопытно, как иногда сплетались в один пестрый клубок самые противоречивые мотивы и настроения. Рылеев, например, в годы наибольшего подъема филэллинизма, призывая в своих стихах Ермолова «спасать сынов Эллады», в то же самое время в патриотических «думах» с гордостью вспоминает о том, как древние славяне в былые времена поколачивали византийских греков («Олег вещей», «Святослав» и др.).

Такого же рода противоречия легко обнаруживаются и в национально-освободительных симпатиях Пушкина. Любопытный факт: в мае 1821 г. Пушкин пишет В. Давыдову восторженное письмо о восстании греков против турецкого ига, и в это же самое время (15 мая 1821 г.) заканчивает эпилог «Кавказского

¹ «Из писем и показаний декабристов», под ред. А. К. Бороздина. СПб, 1906 г., стр. 145 и 146.

² М. В. Довнар-Запольский — «Мемуары декабристов». Киев, 1906 г., стр. 192.

пленника», прославляющий истребление и покорение кавказских горцев, героически отстаивавших свою национальную независимость от России. Конечно, одно дело — греки, «наследники Гомера и Фемистокла», угнетенные варварами-турками; другое дело — «дикие горцы», покоряемые европейской державой, — так мог бы объяснить для себя эту вопиющую непоследовательность Пушкин, если бы данный вопрос вообще возник перед ним. Но дело, конечно, не в «дикости» горцев. Ведь поляки по степени своей культурности стояли никак не ниже русского народа, однако, и в отношении Польши, завоеванной и поработанной царизмом, Пушкин в эпоху своего увлечения греческим восстанием стоит на тех же великодержавных позициях.

«Униженная Швеция и уничтоженная Польша, — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа», —

пишет он в «Исторических замечаниях» (2 августа 1822 г.).

Интересно, что и увлечение Пушкина греческой революцией, такое искреннее, горячее и романтическое, совмещалось с трезвыми соображениями о государственных интересах России на Ближнем Востоке. Молдавия и Валахия интересовали Пушкина не только как плацдарм греческого восстания, но и как объект возможного завоевания русскими войсками. Эти государственные соображения высказываются Пушкиным уже в самом первом и наиболее восторженном письме о греческом восстании.

«Важный вопрос, — пишет он В. Давыдову, — что станет делать Россия; займем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников, перейдем ли мы за Дунай союзниками Греков и врагами их врагов?»

Сама по себе эта фраза, взятая изолированно, ничего еще не говорит об отношении самого Пушкина к поставленной им проблеме. Но «Исторические замечания», написанные через год, вносят полную ясность в данный вопрос. Выделяя из толпы ничтожных фаворитов Екатерины II Потемкина, Пушкин пишет о нем:

«Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными победами в северной Турции».

К этой своей мысли Пушкин делает любопытное примечание:

«Бесплодными, ибо Дунай должен быть настоящею границею между Турцией и Россией. Зачем Екатерина не совершила сего важного плана вначале Французской революции, когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия, а изнуренная Турция не могла нам противостать? Это избавило бы нас от будущих хлопот, а Молдавия и Валахия сделались бы русскими провинциями».

Эти государственные, завоевательные тенденции вносят чрезвычайно любопытный и своеобразный оттенок в романтическое увлечение Пушкина греческим восстанием. Однако, следует тут же отметить, что эти мотивы и соображения не играли особо

заметной роли в том сложном комплексе идей и чувств, которые пробудила в Пушкине греческая революция. Все же греческое восстание интересовало Пушкина прежде всего, как одно из звеньев широкого европейского революционного движения, направленного против феодальной реакции, возглавляемой «Священным Союзом». И не это противоречие — национально-освободительных симпатий и государственно-великодержавных тенденций — играло основную роль в эволюции взглядов Пушкина на греческое восстание. Таким основным противоречием, определявшим эту эволюцию, был конфликт между высокими романтическими лозунгами, под которыми вспыхнула борьба за «возрождение Эллады», и трезвой будничной практикой буржуазной революции.

V

Новое отношение Пушкина к греческой революции сложилось не сразу. Окончательно оформилось оно к 1824 г. и нашло отражение в трех его письмах, посланных из Одессы, куда он переехал летом 1824 г. (одно из этих писем адресовано П. Вяземскому, два других — черновые — предположительно В. Давыдову). Во всех этих письмах Пушкин попрежнему заявляет себя сторонником греческой революции и желает успеха восставшим грекам. В письме к В. Давыдову Пушкин даже прямо протестует против слухов о том, что он будто бы перестал сочувствовать греческому восстанию:

«С удивлением слышу я, что ты считаешь меня [варваром], врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. [Мне случалось иногда говорить о Греции]. Видно, слова мои были тебе странно перетолкованы... Но, что б тебе не говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало... благородным усилиям возрождающегося народа... Греки между Европ. имеют [множ. глупых] гораздо более вредных поборников, нежели благоразумных [полезных] друзей... Ничто еще не было столь народно, как дело Греков, хотя многие в их политическом отношении были важнее для Европы».

Нет никаких оснований сомневаться в искренности этих строк. Однако, достаточно даже одной фразы из одновременного письма к П. Вяземскому («Греция мне огадила») или из другого письма к В. Давыдову, чтобы понять, что во взглядах Пушкина на греческое восстание произошли какие-то глубокие сдвиги: что прежний подъем и энтузиазм сменились разочарованием и скептицизмом. Это обстоятельство давно уже отмечено в истории литературы, однако, причины и характер этого разочарования далеко еще не выяснены и продолжают оставаться спорными¹. В качестве основной причины охлаждения Пушкина

¹ В. Селинов, например, в упоминавшейся выше статье утверждает даже, что, «вопреки мнению некоторых пушкинистов... в 1823—1824 гг. отношении Пушкина к греческому движению было тем же, что и раньше» («Пушкин» вып. II. Одесса, 1926 г., стр. 17).

к греческой революции указывают обычно на общее поправление поэта, вызванное торжеством реакции в России и в Европе. В 1822 г. удар правительства обрушился на кишиневскую ячейку «Союза Благоденствия». Закрытие полулегальных масонских лож, обыски, аресты, заточение в крепость «первого декабриста» — Вл. Раевского — все это произвело на Пушкина удручающее впечатление. К 1823 г. усилиями «Священного Союза» подавлено было революционное движение в Германии, Италии, Испании. Это торжество реакции ярко отражено Пушкиным в замечательных строках «Недвижного стража»:

От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От царсосельских лип до башен Гибралтара,
Все молча ждет удара
Все пало, под ярем склонились все главы

Победа реакции вызвала у Пушкина упадочные настроения, особенно резко проявившиеся в стихотворении «Свободы сеятель». Поэт жалеет, что он потерял напрасно время и труды, бросая живительное семя «в порабощенные бразды», ибо народная масса слишком тупа и инертна:

Паситесь, мирные народы,
Вас не пробудит чести клич!
К чему стадам дары свободы? .
Их должно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды —
Ярмо с премужками да бич.

Это общее поправление Пушкина сыграло, конечно, большую роль и в его охлаждении к греческому восстанию. Однако, только этими общими причинами нельзя всего объяснить. Мне кажется, что греческая революция и сама по себе давала достаточно поводов для разочарования в ней впечатлительного поэта. И еще неизвестно, многие ли из декабристов, даже наиболее радикально настроенных, выдержали бы «испытание практикой» и сумели бы удержаться на высоте революционного пафоса, если бы им, подобно Пушкину, пришлось в течение трех с лишним лет непосредственно наблюдать изнанку и будни греческой революции, ее закулисную сторону.

Захваченный всеобщим энтузиазмом, Пушкин вначале поверил красивой легенде о возрождающейся Элладе. Ему показалось на миг, что герои античной Греции могут воскреснуть в XIX столетии и продефилируют по пыльным улицам купеческой Одессы и захолустного Кишинева громить полчища азиатских варваров. Но уже в первые месяцы восстания обнаружилось резкое расхождение романтических идеалов с реальной действительностью. Очень скоро проявились национальные и классовые противоречия в ялобы едином движении, имевшем высокую и благородную цель освобождения «древнего отечества» — Эллады. Фанариотские замашки князя Ипсиланти, предательская расправа его с вождем

демократического движения Владимиреско, измены и интриги, борьба мелких страстей и личных самолюбий, наконец катастрофический разгром гетеристов турецкими войсками и толпы деморализованных повстанцев, в бездельи слоняющихся по улицам Къшинева — все это могло охладить энтузиазм даже более твердого человека, чем впечатлительный и неустойчивый Пушкин. Не отдавая себе ясного отчета в классовом характере этих трагических событий, с такой быстротой разыгравшихся на территории Молдавии, Пушкин все же инстинктивно чувствовал, что происходит что-то «не то». Правда, на территории самой Греции восстание продолжалось. Переехав в Одессу, Пушкин получал там регулярно информацию о ходе событий в Греции. Но и там победы чередовались с жесточайшими поражениями, и там повстанцы руководствовались реальными классовыми или групповыми интересами, а не романтическими мечтами об античной Элладе; и там подавляющее большинство вожаков движения оказалось не на высоте исторических задач своего народа. Все это явления, совершенно неизбежные в каждой буржуазной революции; но греки превысили, кажется, все существующие на этот счет «нормы». Французский путешественник Беккер, побывавший в Греции во время восстания, не без основания выделяет в этом отношении греческое освободительное движение из других буржуазных революций:

«В других революциях от беспорядка, неизбежного в первые минуты смущения, переходили к началу устройства и образования; война создавала войско; публичные совещания творили правителей; наконец, отличные люди являлись среди оных революций, направляли оные и вели к какой-нибудь цели. В Греции случилось противное. Тут в первые минуты наиболее показали жару, бескорыстия, любви к отечеству. Тогда выступили на поприще люди деятельности, люди отличные; но, вскоре низверженные проництвами, они принуждены были оставаться в бездействии; иные из них были убиты. После сего дела остались в руках негодяев, готовых жертвовать всем для собственной выгоды, утомившихся борьбою за отечество несуществующее, различно понимаемое каждым, не близкое ни для кого».

Любопытны также некоторые подробности, сообщаемые Беккером относительно нравов и порядков, господствовавших среди повстанцев:

«Из стольких займов и добровольных приношений ничего не могли употребить для общественного блага. Деньги были разграблены начальниками; с'естные припасы и разные вещи, посланные европейскими комитетами, были все проданы; часто даже неприятель довольствовался с'естными припасами, посланными для снабжения крепостей, между тем как в греческой армии не было хлеба!»¹

Много горьких, но справедливых замечаний по адресу греческих повстанцев найдем мы и у Байрона, и у других европейских путешественников, сохранивших способность трезвого под-

¹ «Картина Греции в 1827 г.» («Московский телеграф», 1829 г., № 21—22, стр. 164—165).

хода к действительности. Даже С. Глинка в своей ходульной, фальшивой и напыщенной книге «Картина историческая и политическая Новой Греции» (М., 1829 г.), заполненной описаниями подвигов «новейших Леонидов и Фемистоклов», не может скрыть бесконечных раздоров и мелочных «склок между вожакими движениями».

Все это слишком хорошо было известно Пушкину — и по личным наблюдениям в Кишиневе и в Одессе, и по получаемой им информации о ходе восстания в Греции. И все это привело в конце концов к полнейшему краху прежних романтических иллюзий. Еще до того, как греческая буржуазия, сняв с себя героические доспехи, уселась за конторки, поэт разглядел торгашеский лик под античным шлемом. И Пушкин, с его органической неприязнью к театральным позам и жестам, беспощадно срывает античные маски с «новейших Леонидов» и с каким-то ожесточенным реализмом обнажает их подлинное лицо:

«Иезуиты натолковали нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и лавошников, есть законнорожденный их потомок и наследник их школьной славы», —

пишет он П. Вяземскому.

«Ты скажешь, что я переменяю свое мнение. Приехал бы ты к нам, в Одессу, посмотреть на соотечественников Мильтиада, и ты бы со мною согласился».

В черновом письме к В. Давыдову Пушкин дает более развернутую характеристику «соотечественников Мильтиада». Это, по его словам:

«нищие [комиссионеры.. карманные воришки] трусишки, воры и бродяги, которые не могли выдержать даже первого огня плохих турецких стрелков... [Они] составили бы забавный отряд в [русской] армии графа Витгенштейна. Что касается офицеров, то они еще хуже солдат... Мы видели новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева, со многими из них лично знакомы и свидетельствуем о их полном ничтожестве — ни малейшего понятия о военном искусстве, никакого представления о чести, никакого энтузиазма — они нашли искусство быть пошлыми в то самое время, когда их рассказы должны были интересовать каждого европейца — Французы и русские, которые здесь живут, выказывают то презрение к ним, которое они более чем заслуживают...»

Свою уничтожающую характеристику греческих повстанцев Пушкин заканчивает ироническим замечанием:

«Они все сносят, даже палочные удары, с хладнокровием, достойным Фемистокла».

Несмотря на все это, Пушкин попрежнему искренне желает успеха греческим повстанцам. Но, лишенная романтических одеяний и античных доспехов, греческая революция не вызывает уже в нем прежнего энтузиазма. Он считает теперь, что Европа слишком уж носится с Грецией:

«Греция мне огадила, — пишет он Вяземскому. — О судьбе Греков позволено рассуждать, как о судьбе моей братьи негров: можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого; но, чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией, — это непозволительное ребячество».

Как видим, от прежних романтических иллюзий не осталось и следа; прежний восторженно-идеалистический подход к греческому восстанию сменился трезвым скептицизмом и разочарованием. Однако, классовая природа такого рода скептицизма и разочарования по отношению к буржуазной революции может быть весьма различна. В одних случаях — это форма отступления от всякой революционности. В других случаях — это форма перехода на высшую ступень революционного сознания. Весьма поучителен в этом отношении пример с Герценом, хотя и взятый из иной исторической обстановки. Много лет спустя после Пушкина Герцен мучительно задумывался над разительным контрастом между романтическими идеалами, под знаком которых совершались буржуазные революции, и объективными результатами этих революций. В своем блестящем очерке «Venezia la bella» Герцен писал:

«Сколько веков... греческий народ был стерт с лица земли, как государство, и все же он остался жив, и в ту самую минуту, когда вся Европа угорала в чад реставраций, Греция проснулась и встревожила весь мир. Но греки Каподистрии были ли похожи на греков Перикла или на греков Византии? Осталось одно имя и натянутое воспоминание».

Скептическое замечание Герцена по адресу современной ему Греции лишь частный случай его скептического отношения к буржуазным революциям и буржуазному строю, после пережитой им драмы 1848 года.

«Духовный крах Герцена, — писал Ленин, — его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела».

И скептицизм Герцена был

«Формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» («Памяти Герцена»).

Совсем иное дело — разочарование Пушкина в греческой революции. Духовный крах Пушкина произошел в иной исторической обстановке, когда революционность буржуазной демократии была еще жива, когда буржуазия еще штурмовала твердыни феодализма. В частности, греческая революция, при всех своих отрицательных и теневых сторонах, несомненно, была глубоко прогрессивным явлением. И хотя суровая критика Пушкиным деятелей греческого восстания политически очень расплывчатая (он критикует главным образом моральные качества повстанцев, не делая при этом особых различий между «чернью», буржуазией, офицерством, аристократией), не трудно заметить все же, что это была критика с позиций дворянина, временно захваченного буржуазной революцией, а затем разочаровавшегося в ней. Ведь никакой положительной программы действий, бо-

ле: последовательной и демократической, Пушкин не дал и, конечно, не мог дать. И его разочарование было не формой перехода на высшую ступень революционного сознания, а формой отхода от революции. Разгром декабристского восстания лишь закрепил этот отход, наметившийся достаточно отчетливо еще в 1823—1824 году.

VI

Близкое наблюдение греческой революции и крах романтических иллюзий обусловили глубокие сдвиги не только в политическом сознании Пушкина, но и в его художественном методе. Пушкин стал трезвее, реалистичнее, не только в вопросах политики, но и в своем творчестве. Именно в эти переломные годы (1823—1824) Пушкин расстается со своими байроническими увлечениями и делает решительные шаги в сторону реализма (первые главы «Онегина», развенчание байронического героя в «Цыганах» и т. д.). Конечно, нельзя утверждать, что сдвиги к реализму обусловлены только пережитым разочарованием Пушкина в греческой революции. Но известную роль это обстоятельство здесь, несомненно, сыграло. Не случайно, что именно в том письме к Вяземскому, в котором с наибольшей резкостью выразилось разочарование Пушкина в греческой революции, содержится и первый критический отзыв Пушкина о Байроне, только что погибшем в Греции. Именно это охлаждение к греческому восстанию лишает Пушкина необходимого пафоса для того, чтобы воспеть смерть Байрона:

«Твоя мысль воспеть его смерть в 5-й песне его «Героя» прелестна — но мне не по силам. Греция мне огадила... и т. д.

«Обещаю тебе, однако же, вирши на смерть Его Превосходительства»,

иронически заканчивает Пушкин. Этими «виршами» оказалось замечательное стихотворение «К морю» (1824 г.), в котором Пушкин отдал последний долг памяти Байрона, не упомянув, однако, ни одним словом о Греции. Этим пушкинское стихотворение резко выделялось на фоне стихов, статей, некрологов, заметок, в которых имя погибшего Байрона неразрывно связывалось с его борьбой за независимость Греции.

Очень показательна в этом смысле и «Ода его сиятельству графу Д. И. Хвостову» (1825 г.). Непосредственным поводом к написанию «Оды» послужили многочисленные стихотворения на смерть Байрона, написанные большей частью в архаическом стиле. Блестяще пародируя этот архаический стиль, Пушкин в своей «Оде» с комической серьезностью предлагает бездарному виршеплету графу Хвостову отправиться в Элладу и занять там место умершего Байрона. Ю. Н. Тынянов правильно указал на то, что пародия Пушкина направлена не столько против Хвостова, сколько против воскресителя старой оды —

Кюхельбекера, и защитника новой оды — Рылеева¹. Таким образом пародия Пушкина имеет широкое литературное значение, как очень яркое проявление литературной борьбы той эпохи. Но в этой блестящей пародии имеются моменты, непосредственно связанные с новыми настроениями Пушкина, вызванными переоценкой греческой революции. Убедившись в полнейшем ничтожестве «соотечественников Мильтиада», Пушкин подвергает осмеянию не только употребление «славяно-русского» стиля, но и переряживание современных греков в костюмы античных героев, чем продолжали увлекаться его друзья, поэты-декабристы. Так, например, строфа в «Оде гр. Хвостову», пародирующая неудачное выражение Рылеева («Кровью уж земля намокла»), заострена также и против использования Рылеевым героических имен античной Эллады для возвеличения современных греков. Приглашая Хвостова отправиться в Грецию, Пушкин пишет:

Но новый лавр тебя ждет там,
Где от крови земля промокла:
Перикла лавр, лавр Фемисокла!
Лети туда, Хвостов наш, сам!»²

Образы античных героев, включенные в систему пародийной оды, воспринимаются, конечно, в сугубо-комическом плане. Любопытно в этом отношении также одно из комических примечаний Пушкина к своей «Оде»:

«Под словом клады должно разуметь правдивую ненависть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким чалмоносцам».

В этих выпадах против «античного маскарада» слышится уже прямой отголосок той уничтожающей критики, которой подверг Пушкин деятелей современной Греции в своих письмах из Одессы. Эта критика, как мы уже видели, опиралась на реальные многолетние наблюдения; однако, следует отметить, что Пушкин не понял или не захотел понять прогрессивного значения использования героических имен и преданий древности в буржуазных революциях, когда буржуазия выступает еще в роли могильщика феодализма. Это сказалось между прочим и в том, что Пушкин в своей пародии поставил на одну доску графа Хвостова — неуклюжий архаический обломок XVIII в. — и поэтов-декабристов — Рылеева и Кюхельбекера.

Через десять лет в рассказе «Кирджали» Пушкин снова возвращается к теме греческой революции. Рассказ этот сам по се-

¹ Ю. Тынянов — «Архаисты и новаторы». 1929 г., стр. 218.

² Ср. у Рылеева в стихотворении «А. П. Ермолову», которого Рылеев призывал с русскими войсками спасать Элладу:

Уже в отечестве потомков Фемистокла
Повсюду подняты свободы знамена,
Геройской кровью уж земля намокла
И трупами врагов удобрена!

Аналогичная строфа имеется и в стихотворении Рылеева «На смерть Байрона».

бе чрезвычайно интересен, но я не буду здесь на нем останавливаться, так как он относится совсем к другой эпохе мировоззрения и творчества Пушкина. Чтобы закончить анализ отношения Пушкина к греческому восстанию в период его пребывания на юге России, нам остается сравнить позиции Байрона и Пушкина в этом вопросе. Такое сравнение имеет и более широкий литературоведческий интерес, помогая прояснить сложный и запутанный буржуазными учеными вопрос о байронизме Пушкина.

VII

Греческое восстание 20-х годов неразрывно связано с именем Байрона, который посвятил возрождающейся Греции ряд своих произведений и погиб в борьбе за ее независимость. Вполне естественно поэтому, что все историки литературы, касающиеся вопроса об отношении Пушкина к греческой революции, проводят параллели между ним и великим английским поэтом. Однако, все эти параллели очень поверхностны, бессодержательны и во многом ошибочны. Так, например, А. Веселовский пишет о Пушкине:

«Достойное Байрона сочувствие к угнетенным прозвучало в стихотворении «Восстань, о Греция, восстань», в горячем участии, высказанном Пушкиным к успеху греческого восстания, затеянного в Молдавии Александром Ипсиланти»¹.

То же самое утверждает и Н. Дашкевич:

«Подобно Байрону, Пушкин очень принимал к сердцу дело освобождения Греции от турецкой неволи».

Больше того: Пушкин, оказывается, «был знаком между прочим с гречанкой, которая целовалась с Байроном»²

Это ценное указание дает, конечно, особенно много для уяснения интересующего нас вопроса.

Иногда параллели между Байроном и Пушкиным неверны просто с фактической стороны. Так, например, в статье Б. В. Томашевского «Кишиневские годы» содержится такое утверждение:

«Пример Байрона, отправившегося в Грецию для участия в освободительной войне греков против турок, непосредственно повлиял на Пушкина. Он мечтал об участии в войне против Турции, мечтал о бегстве из России к грекам» («Литературный Ленинград», № 43, 1935 г.).

С Пушкиным, действительно, все это происходило, но только в 1821 г. Байрон же, как известно, отправился в Грецию для участия в войне с турками в июле 1823 года. Так что говорить о «непосредственном» влиянии героического примера Байрона на Пушкина — не приходится.

¹ А. Веселовский — «Западное влияние в новой русской литературе». М., 1896 г., стр. 189.

² Н. Дашкевич — «Отголоски увлечения Байроном в поэзии Пушкина». Сб. отд. русск. яз. и словесности. Академия наук, 1914 г., т. 92, стр. 335 и 338.

Не все исследователи ставят знак равенства между позицией Пушкина и Байрона в греческом вопросе. Некоторые отмечают, что в 1824 г. Пушкин охладел к греческому восстанию. Но этим, собственно, и ограничивается установление различия между Пушкиным и Байроном в данном вопросе.

А между тем не только в 1824-м, но и в 1821 г. отношение Пушкина к греческому восстанию во многом значительно отличалось от позиции Байрона. Я остановлюсь только на более существенных на мой взгляд моментах.

Прежде всего, следует отметить, что Греция и ее борьба за национальную независимость занимают в творчестве Байрона неизмеримо большее место, чем в творчестве Пушкина (вся вторая часть «Чайльд-Гарольда», «восточные» поэмы, «Проклятие Минервы», «Бронзовый век», «Из дневника в Кефалонии», и т. д.). И если сравнить все написанное Байроном и Пушкиным о греческом восстании, то бросается в глаза, во-первых, гораздо большая страстность и темпераментность, с которой Байрон пропагандирует идею освобождения Греции, а во-вторых, гораздо более широкий, «европейский» подход английского поэта к данному вопросу.

Это различие масштабов и широта оценок (я не говорю сейчас о политическом содержании этих оценок) объясняются не степенью гениальности обоих поэтов, а скорее коренным различием условий их развития, воспитания и творческой работы. Байрон — поэт страны многовековой цивилизации с развитой политической жизнью, с самым старинным в Европе парламентом, членом которого он состоял; Байрон исколесил в своих путешествиях всю Европу, два раза побывал в самом центре Греции, имел возможность близко наблюдать борьбу разных партий и дипломатические происки европейских государств на Балканском полуострове и т. д. Пушкин же сидел на привязи в захолустном Кишиневе, часто не имея даже газет и журналов. И неудивительно, что в его суждениях о греческой революции, при всей их меткости и наблюдательности, чувствуется налет некоторого провинциализма. Лишь в Одессе перед поэтом несколько приоткрылось окно в Европу; но в Одессе он уже потерял интерес к греческому восстанию. Впрочем, не следует забывать о том, что в условиях рабской России Пушкин не мог свободно высказать даже те наблюдения, которые у него сложились, а свой Кишиневский дневник вынужден был сжечь, опасаясь нескромного любопытства царской полиции.

Но имеются, однако, гораздо более существенные и принципиальные различия между двумя поэтами в их отношении к греческому восстанию. Все эти различия вытекали из одного основного: разрыв Байрона со своим классом и государством был гораздо глубже, острее и непримиримее, чем у Пушкина. Именно это позволило Байрону подняться выше тех предрассудков, вы-

шей той дворянской ограниченности, которые свойственны были даже самым «левым» русским либералам 20-х годов.

Какие же это различия?

Мы видели уже, что Пушкин и декабристы, горячо сочувствуя освобождению Греции от турецкого ига, вместе с тем не признавали такого же права на свободу и независимость за угнетенными нациями самой России. У Байрона нет этой непоследовательности.

Байрон гораздо шире понимал принцип национальной независимости, распространяя его и на те народы, которые угнетались его собственной страной, т. е. Англией. Не будучи вполне последовательным революционером и демократом, сохраняя в своем мировоззрении много пережитков феодально-аристократического сознания, Байрон все же в этом вопросе неоднократно поднимался до великого принципа, провозглашенного Марксом: «Не может быть свободным народ, угнетающий другие народы». Можно было бы привести множество примеров, подтверждающих это положение. Я ограничусь лишь несколькими. В предисловии к IV песне «Чайльд-Гарольда» Байрон клеймит позором английское правительство за его роль в итальянских делах, советуя англичанам:

«Лучше бы они следили за тем, что происходит у них дома. Что касается того, что они сделали за границами своей страны и в особенности на юге, то они наверное получают возмездие, и не в очень отдаленном времени»¹.

Байрон неоднократно протестует против угнетения ирландцев Англией. В парламентской речи по ирландскому вопросу он говорит:

«Если это можно назвать унией, то это уния волка и его добычи; хищник поедает свою жертву, и таким образом они приходят к единству. Так поглотила Великобритания парламент, конституцию и независимость Ирландии...»

И, призывая парламент к освобождению ирландцев, Байрон спрашивает:

«Разве мы не должны были бы желать этого для нас самих? Разве нечего выиграть и нам самим от их эмансипации? (т. III, стр. 579).

Однако, Байрон признавал не только парламентские методы борьбы. В замечательном поэтическом памфлете «Ирландская аватара», который Гете называл «образцом возвышенной ненависти», Байрон бичует холопство ирландцев, восторженно приветствовавших английского короля Георга IV, и призывает их к непримиримой борьбе с угнетателями — англичанами. Достаточ-

¹ Здесь и ниже Байрон цитируется по Собр. соч. под ред. С. А. Венгерова. В некоторых местах для большей точности я даю поэтические тексты в прозаическом переводе, выполненном по моей просьбе М. Н. Гутнером, которому и приношу здесь свою благодарность.

но привести такие строки, обращенные к Ирландии, чтобы понять, до каких высот революционного сознания поднимался Байрон в национальном вопросе:

«Я, как свободный человек, стоял за твою свободу. Эта рука, хотя и слаба она, взялась бы за оружие, чтобы помочь тебе в борьбе, и это сердце, хотя оно совсем измучено, билось за тебя».

Резко отрицательно смотрит Байрон и на колониальную эксплуатацию англичанами Индии. В одном из примечаний к «Чайльд-Гарольду» он говорит:

«Я не думаю, чтобы честь Англии выигрывала от грабежа — в Индии ли, или в Аттике» (т. I, стр. 482) .

В страстном политическом памфлете «Проклятие Минервы» Байрон вкладывает в уста богини грозное предсказание о будущей кровавой мести обманутых, преданных и поработенных Англией народов. Особенно интересны строфы, предсказывающие неизбежное восстание Индии против колониального гнета Англии:

В долине Ганга сумрачное племя.
Давно мечтает свергнуть ваше бремя.
Из обогранных кровью индских вод
Давно к расплате голос вас зовет», и т. д. (т. III, стр. 542).

Стоит только сравнить эти строки с письмом Пушкина к брату из Кишинева, в котором он приветствует покорение кавказских горцев и мечтает о завоевании Индии («и может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии»), чтобы понять, насколько различны были воззрения двух великих поэтов на принцип национальной независимости. И если Пушкин даже в период своего наибольшего увлечения греческой революцией не забывал о государственных интересах России на Ближнем Востоке, то у Байрона мы нигде не найдем подобных же мотивов. Он отлично осведомлен о сложной закулисной борьбе европейских государств на Балканском полуострове. Но когда Байрон касается этого вопроса, очень трудно понять, к какой нации принадлежит он сам, — настолько чужды были ему какие-либо национальные пристрастия и интересы¹. Страсть и темперамент появляются в его голосе лишь тогда, когда он обрушивается на недостойное поведение англичан в Греции. Когда лорд Эльджин увез из Греции античные древности, Байрон обвиняет в этом поступке всю Англию:

Британия, ужели ты довольна,
Что плачет грек, который слаб и сир?
В хищениях таких признаться больно,
Ты за себя краснеть заставишь мир («Чайльд-Гарольд»).

¹ См., например, заметку Байрона «Францисканский монастырь» — приложение к «Чайльд-Гарольду», т. I, стр. 494 и 495.

И в вопросе о способах помощи греческому народу можно отметить существенную разницу между Байроном и Пушкиным. Русские либералы все без исключения были горячими сторонниками вооруженного вмешательства России в борьбу между Грецией и Турцией, не задумываясь над тем, как эта рабская, крепостническая Россия, беспощадно угнетающая десятки наций у себя дома, будет освобождать другие народы? Пушкин также связывал надежды на освобождение Греции с русским штыком. Когда вспыхнуло греческое восстание, он с нетерпением ожидал объявления Россией войны Турции, а в письме к В. Давыдову сочувственно цитировал слова из прокламации Ипсиланти:

«Великая держава (т. е. Россия. — Н. С.) одобряет сей подвиг великодушный»¹.

Байрон был другого мнения об освободительной силе русских штыков. Он склонялся иногда в пользу европейского вмешательства в греческие дела, но основная его мысль та, что освобождение Греции — дело самих греков. «Ни Франция, ни Русь вас не спасут», говорит он в «Чайльд-Гарольде». С особой силой и страстностью обрушивался Байрон на таких «спасителей» Греции, как Россия, так как он прекрасно понимал, что участие России приведет лишь к перемене угнетателя: вместо турецкого султана на шею греков будет сидеть русский царь:

Пусть так: лишь греки — Греции своей
Должны вернуть свободу прежних дней,
Не варвар в маске мира. Царь рабов
Не может снять с народов гнет оков.
Не лучше ль иго гордых мусульман?
Чем жить, вплетясь в казачий караван!
Не лучше ль труд свободным отдавать,
Чем под ярмом у русской двери ждать,
В стране рабов, где весь народ притом,
Казна живая, мерится гуртом,
И где цари беспомощный свой люд
По тысячам придворным раздают...²

Конечно, еще более различались позиции Байрона и Пушкина в греческом вопросе тогда, когда Пушкин уже охладел к восстанию. Для подкрепления своей отрицательной характеристики современных греков Пушкин в письме к Вяземскому ссылается на авторитет Байрона:

«Да посмотри, что писал тому несколько лет сам Байрон в замечаниях на «Child Harold», там, где он ссылается на мнение Фовеля, французского консула, помнитса, в Смирне».

¹ И впоследствии, в заметке на книгу А. Н. Муравьева — «Путешествие к ов. местам» (1832 г.) Пушкин писал о мирных переговорах в Адрианополе: «Греция оживала. Могущественная помощь Севера возвращала ей независимость и самобытность», и т. д.

² Соч., т III, стр. 154. Поэтический перевод здесь очень точно передает текст Байрона.

Пушкин мог бы сослаться и на ряд других мест в произведениях Байрона. Идеализируя античную Грецию, Байрон совсем не склонен был прикрашивать современных греков и часто отзывается о них с неменьшей резкостью, чем Пушкин.

Однако, и в этом вопросе нельзя не заметить очень существенной разницы между двумя поэтами. Байрон гораздо объективнее оценивает греческий народ. Он не ограничивается, подобно Пушкину, констатированием отрицательных моральных свойств современных греков, но ищет объяснение этого явления и находит его в исторических условиях существования греческого народа под многовековым игом турок:

«Греки являются грустным примером тесной связи между нравственным вырождением и национальным падением» (т. I, стр. 498).

Пушкин, убедившись в том, что современные греки очень мало похожи на соотечественников Мильтиада и Фемистокла, осмелел свои романтические иллюзии и почти совершенно охладел к греческой революции. Байрон проявил в этом отношении гораздо большую устойчивость. Приехав вторично в Грецию в 1823 г., он нашел там бесконечные раздоры вождей, мелкие интриги бесчисленных партий, каждая из которых хотела перетянуть его на свою сторону, а себя увидел в положении «человека, который платит», в положении богача, за деньгами которого охотятся вожаки отдельных отрядов. Все это не поколебало, однако, твердости его духа, не помешало ему до конца бороться за национальное освобождение Греции и с честью погибнуть в этой борьбе:

«Тираны дают мир — я ль уступлю?» — писал он за несколько месяцев до смерти («Из дневника в Кефалонии»).

Но было, однако, нечто от усталости и безнадежности в этом последнем героическом поединке со старым миром под стенами Миссолонги. Великий поэт прекрасно сознавал, что жизненный и творческий путь его уже окончен, что дальше идти некуда. Не было никакого просвета и в политической жизни Европы. Тучи реакции со всех сторон обложили то небо, которое он яростно штурмовал всю свою жизнь. И Байрон бежал—«к у д а н и б у д ь... в Грецию»,— как сказал о нем Герцен. Байрон готов был отдать свою жизнь за дело Греции не только потому, что это дело было для него дороже жизни, но и потому, что жизнь ему была уже не дорога. Его воодушевляла, может быть, не столько вера в победу и торжество его идеалов, сколько возможность умереть с честью в этой борьбе. В предсмертных его стихах, посвященных Греции, звучит какая-то обреченность, ощущение личного и социального тупика:

Все дни мои, как желтый лист увяли,
Цветы, плоды исчезли, — и на дне
Моей души гнездится червь печали;
Вот что осталось мне!

.

И если ты о юности жалеешь,
 Зачем беречь напрасно жизнь свою?
 Смерть пред тобой, — и ты ли не сумеешь
 Со славою пасть в бою? (том. III, стр. 57).

Через три месяца Байрона не стало.

Когда весь мир облетело известие о смерти великого английского поэта, кажется, никто лучше Пушкина не понимал, что Байрон находился уже в конце своего жизненного и творческого пути и что смерть была для него лучшим исходом.

«Гений Байрона бледнел с его молодостью, — писал он П. Вяземскому. — В своих трагедиях, не выключая и «Каина», он уже не тот пламенный Демон, который создал «Гяура» и «Чайльд-Гарольда». Первые 2 песни «Дон-Жуана» выше следующих. Его поэзия, видимо, изменялась. Он весь создан был навыворот, постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал, пропел и замолчал, и первые звуки его уже ему не возвратились».

И отсюда это признание, которое может показаться странным и диким лишь на первый взгляд:

«Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии».

Правда, в этой оценке творческого пути Байрона много ошибочного. Но Пушкин был прав в том смысле, что героическая смерть Байрона сыграла огромную — не только поэтическую, но и политическую роль, может быть большую, чем сыграла бы его последующая жизнь и последующее творчество.

И в этом отношении была, конечно, большая разница между Байроном, заканчивавшим свой жизненный и творческий путь, и молодым Пушкиным, полным сил, надежд и творческих замыслов, перед которым расстилалась широкая дорога гения.

Для Байрона греческая революция была последней станцией на его пути, для Пушкина — лишь этапом, хотя и очень важным. Для Байрона разочарование в греческой революции было бы последним непоправимым крушением, — Пушкин перенес его сравнительно безболезненно, так как на смену рухнувшим идеалам приходили другие, новые. Эти новые идеалы были менее прогрессивны в политическом отношении, но Пушкин был революционером не в политике, а в литературе. Поворот Пушкина от романтизма к реализму вывел русскую литературу на широкую дорогу, раскрыл перед ней богатейшие перспективы, обеспечил ей решающие победы.

Как правильно и глубоко заметил еще Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» —

«величие Пушкина не в том, что он был равен Байрону или похож на этого мизантропа, страдающего от любви к людям; мы знаем теперь, что Байрон был бы у нас тогда невозможен и бесполезен, потому что не был бы понят ни публикою, ни даже даровитейшими литераторами. У Пушкина есть другие качества, другие великие заслуги».

ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Под редакцией

Вс. Вишневского, А. Исбаха, А. Косарева,
М. Ланда, В. Луговского, А. Новикова-При-
боя, С. Рейвина, М. Субоцкого

НОЯБРЬ

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ